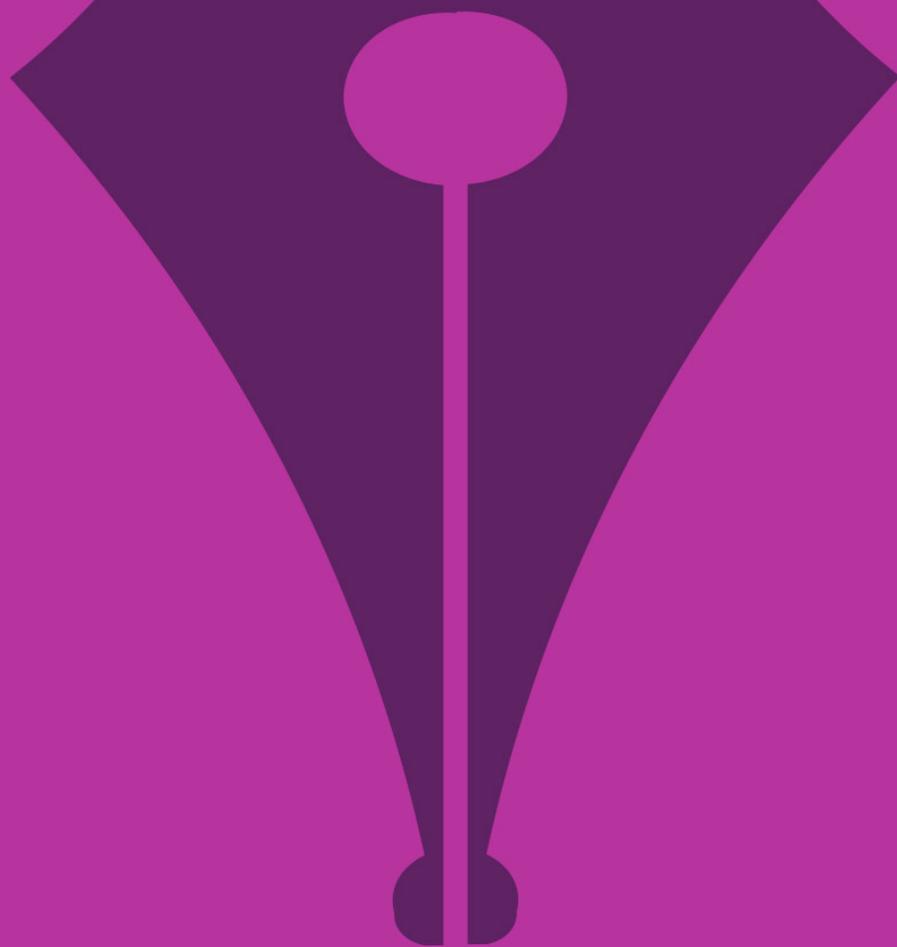


ИВАН БУНИН



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ

Воспоминания

Иван Бунин

Автобиографические заметки

«ЭКСМО»

Бунин И. А.

Автобиографические заметки / И. А. Бунин — «Эксмо»,
— (Воспоминания)

«Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом». Дополняю их некоторыми новыми...»

Иван Бунин

Автобиографические заметки

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми.

(Курсив мой; делая выписки из стихов и прозы с новой орфографией, я даю их по старой.)

* * *

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабым лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: «*Встреча в горах с кретином*». Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабым лицом и в шляпе вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера крестинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами, – ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких крестин, имена которых навеки останутся во всемирной истории, – тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

* * *

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отведен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там произошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение» – под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспели» погибающие дворянские гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть ли не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, – уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов *сплошь* вишневых: в помещичьих садах бывали только *части* садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз возле* господского дома, и ничего не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопухин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопухину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, – точно совсем из «Дяди Вани», – истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим – студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! – восклицает он. – Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

* * *

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, – он еще жив, и мне не хочется называть его, – рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, опере-

нием седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, – со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях –

Дома косые двухэтажные
И тут же рига, скотный двор, —

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и несет «в ягдташе золотую лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати, почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» – как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре – как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в России и во всех странах актеров-художников? Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, – и ведь даже и поныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову: «Это твой театр, Антон». Как кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году, – «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова ее: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции мнение, написав мне в 1936 году: „Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов“. Какие мудрые и благосклонные слова!

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, – в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придавала этому ровно никакого значения, – как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцепипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости и кощунства», в свое время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирал гармонь:

Ненавижу дыхание Китежа!
Обещаю вам Инонию!
Богу выщиплю бороду!
Молюсь ему матерщиною!
Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда и пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивный свет —
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюму вам,
Что имя Ленина шумит, как ветер, по краю!

За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой «мальчонка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?

Я мать свою зарезал,
Отца сваво убил,
А младшую сестренку
Невинности лишил...

Простила и за то, что он – «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

Осточертели эти самые самородки
От сохи, от земли, от земледелия,
Довольно этой косоворотки и водки
И стихов с похмелия!

В сущности, не так уж много
Требуется, чтобы стать поэтами:
Запустить в Господа Бога
Тяжелыми предметами,

Расшвырять, сообразно со вкусами,
Письменными принадлежностями,
Тряхнуть кудрями русыми
И зарыдать от нежности...

* * *

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г.В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: „Где уж нам, деревенщине!“ А за этим маскарадом – неистовый карьеризм,

ненасытное самолюбие и славолюбие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: „Что это на вас за гетры такие?“ Все это заставило Есенина перебраться в Москву, и там он быстро стал популярен, примкнув к „имажинистам“. Потом начались его скандалы, дебоши, „Господи, отелись“, приступы мании величия, Айседора Дункан, турнэ с ней по Европе и Америке, неистовые избиения ее, возвращение в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство – и самоубийство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, – о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Мариенгофа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты-баряхты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри – Белый: и волос уж седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в лорнеты, – „ах, как замечательно, ах, как гениально!“ – А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел, – не надо ли, мол, чего покрасить, – и давай кухарке стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: где уж нам в горницу, креслице барину перепачкаю, пол вощенный наслежу... Барин предлагает садиться – Клюев опять ломается, мнетя: да нет, мы постоим...»

Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом русском слове» в Нью-Йорке. Березов писал о Есенине с умилением:

– Помнишь, Сережа, – спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал, – помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин ответил:

– Все помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкручивая концы строк и, конечно, неспроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «Разудалая Русь»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали,
Первый раз я запел про любовь,
Первый раз отрекаюсь скандалить...

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, своим вечным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

Синий май. Заревая теплынь,
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь,
Спит черемуха в белой накидке...

Дело происходит в мае, в саду, – откуда же взялась полынь, запах которой, ка известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «веять»?

Дальше, несмотря на спящую черемуху, -

Сад польшет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От шемящего слова «милый»...

Желание луны понятно, – недаром Бальмонт утверждал, что «каждая ящерица ищет ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыне полыхающий пенным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается все это так:

Только я в эту тишь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Не могу ничего пожелать,
Все, как есть, без конца принимая...

Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются...

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встречались с ним в редакции журнала „Красная новь“. Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картинка: Есенин в черном котелке и модном демисезонном пальто „раглан“, в лаковых полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поем...» Рисовал Березов и другие «картинки» – как жил и как «творил» Есенин (игравший и другие роли, уже не хулиганские):

«Жил Есенин в Брюсовском переулке в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Приятные, светлые обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетка с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам, стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: „Груша, сходите за цветами, купите самых красивых“. Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по-праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Все его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озерам и рощам за раба Божия Сергея и за его вдохновенное творчество...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.